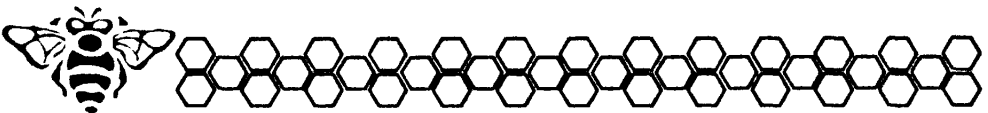


STUDIA PHILOLOGICA



А. П. ЛЮСЫЙ

ПУШКИН
ТАВРИДА
КИММЕРИЯ



ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва 2000

ББК 84(2Рос=Рус)6
Л 95

*Издание осуществлено при поддержке
Института «Открытое общество» (Фонд Сороса)
в рамках конкурса «Пушкинист»*

Люсый А. П.

Л 95 Пушкин. Таврида. Киммерия. М.: Языки русской культуры,
2000. – 248 с.

ISBN 5-7859-0110-2

В книге всесторонне осмысливается южный полюс созданного Пушкиным в русской литературе петербургского мифа миф Тавриды. Представлена оригинальная трактовка восприятия Пушкиным Тавриды сквозь призму творчества «полузабытого, но гениального» поэта, «литературного Колумба Крыма» Семена Боброва. Исследуется роль этой темы в становлении художественного и исторического сознания Пушкина, обозревается своеобразное «пушкиноискательство» и «пушкиноборчество» в Крыму других поэтов. В приложениях публикуется неизвестная работа Ирины Медведевой-Томашевской и Николая Томашевского «За Пушкиным по Крыму».

ББК 84(2Рос-Рус)6

В оформлении обложки использованы картины:

И. К. Айвазовский (совместно с И. Е. Репиным).

«Прощание А. С. Пушкина с морем». 1887.

И. К. Айвазовский. «А. С. Пушкин в Крыму у Гурзуфских скал». 1880.

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246 20-20 с о M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки русской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

ISBN 5-7859-0110-2



© А. П. Люсый, 2000

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Воображенью край священный...» С какой, казалось бы, легкостью воскликнул поэт об этой земле. Однако путь «воображенья» был не так прост, как это может показаться на первый взгляд. На «берегах Тавриды» поэт слушал не только говор волн, но и голоса предшественников, уже побывавших здесь, иногда даже «думал» их стихами.

Пушкинская Таврида — своеобразный южный полюс Пушкиным же созданного петербургского мифа в русской литературе. «Важным здесь является, — обосновывает Т. Николаева сформулированную представителями “Московской семиотической школы” проблему вычленения (или от-членения) семиотически значимого “Х-текста” от примыкающих к нему явлений иного семиотического статуса, — не только умение увидеть в пределах одного (или многих текстов) некий неявный новый текст заданной структуры, но и осознать его не как шифровку или прорыв подсознательного, а как общеобращенный факт литературного бытия, со всеми собственными единицами плана выражения и плана содержания»¹. Явный пушкинский «крымский текст» не только важнейший этап развития романтизма в его творчестве, но и поворотный пункт в становлении исторического сознания поэта.

Больше всего о Тавриде Пушкин «думал» стихами Семена Боброва, по выражению Юрия Лотмана, поэта «гениального, но полузабытого»². В последние годы он не раз извлекался из «полузабвения», но проблема «Пушкин и Бобров» после 1900 года еще ни разу не ставилась. Поэтому автор и уделяет этой теме особое внимание, естественно, не ограничиваясь ею, отдавая дань крымскому «пушкиноискательству» и «пушкиноборчеству» и других поэтов. Дальнейшая эволюция образа Тавриды рассматривается в контексте его демифологизации, пушкиноискательства символистов, новой эллинизации Осипом Мандельштамом, создания оппозиционного этому образу мифа Киммерии Максимилиана Волошина. Известный и новый историко-литературный материал автор пытался осмысливать с позиций современной литературоведческой и общегуманитарной методологии. Тем самым, возможно, намечается заполнение исследовательской ниши взаимодействия мифологии и русской литературы.

Тема, думается, имеет не только научную, но также просветительскую и общекультурную значимость. Нынешний идейный вакуум в российском обществе, вкуче с осуществленным постмодернизмом радикальной эстетической «демифологизацией», вынуждает искать и осмысливать имеющиеся в прошлом позитивные энергетические импульсы (как пишет Эрнст Блох в «Тюбингенском введении в философию», «чистые гештальты попыток, гештальты Исхода, то есть реальные модели еще не Удавшегося»³). Таврида в наше время — некое российское инобытие, и

от этого культурного наследия не стоит отказываться, как это порою делается, как бы в пику противоположной политической крайности вокруг «инобытия», насчет «Крыма — российской земли». Автор книги стремится к более серьезной «таврической» идентификации современного российского сознания, будучи уверен, что филология может этому поспособствовать.

В качестве одного из приложений публикуется малоизвестная работа известных ученых и литераторов Ирины Медведевой и Николая Томашевского (жены и сына выдающегося пушкиноведа Бориса Томашевского) «За Пушкиным по Крыму». Автор выражает благодарность Марии Николаевне Томашевской за предоставленную ею возможность поместить в книге это произведение из ее архива.

Данная работа была начата мной в виде диссертации под руководством стиховеда и критика Владимира Ивановича Славецкого (1951—1998), памяти которого книга и посвящается.

Глава I

ОТ БЕЛЫХ ВОД ДО ЧЕРНЫХ

ПО СЛЕДАМ ОДИССЕЯ

Связная история таврических метафор на русском языке берет начало с весьма метафорического при всей потенциальной историсофичности своей эпизода. Древнейшая из дошедших до наших дней надпись на этом, тогда еще древнерусском, языке на так называемом Тмутараканском камне гласит: «В лето 6576 (1065) индикта 6 Глеб князь мерил море по леду от Тмуторокани до Корчева 30, 054 сажен».

Это как будто бы своеобразное цифровое выражение некоей задачи, число, запульсировавшее потом всеми счастливыми и, наоборот, порой весьма пагубными встречами и расставаниями с вдохновляющим в любом случае краем. Встречами и расставаниями уже не только князей (хотя и князей тоже, в том числе и великих, как поэт К.Р.), но даже «официальных» «поэтических королей», организовывавших в Керчи «Олимпиаду футуризма», всех носителей русской поэтической музыки.

С Тамани начинается и крымское измерение Пушкина, хотя его воображение занимал здесь не Глеб, а другой князь Тмутаракани Мстислав. В эпилоге к писавшемуся уже в Гурзуфе «Кавказскому пленнику» Пушкин, перечисляя занимавшие его сюжеты, упомянул «Мстислава древний поединок» (4, 113)*.

В Крыму происходит действие еще более древней, чем тмутараканская строка-задача, но дошедшей в позднейших списках из нескольких слоев «Корсунской легенды», повествующей о походе первокрестителя князя Владимира на Херсонес, с чего берет начало крещение Руси. Крым упоминается летописцем Нестором в «Повести временных лет». Мифический див в «Слове о полку Игореве» призывает князя «послушати — земли незнаем <...> и Сурожу, и Корсуню <...>»⁴

«Югофильство, — утверждает в своей концептуальной, продолжающей оставаться единственной в своем роде книге "Природа, мир, тайник вселенной" Михаил Эпштейн, — первая, во многом утопическая антитеза балтийской ориентации России, предрешенная Петром I...»⁵. В действительности, однако, Петр I вполне серьезно пытался вначале «прорубить окно» именно на юге, на что были направлены Азовские походы 1695 и 1696 года. Реанимирован был еще Юрием Крижаничем составленный план основания новой русской столицы в Крыму, и Петр I однажды даже постоял «на берегу пустынных волн» все в том же Корчеве во время так называемого Керченского похода 1699 года (что описано

* Цитаты из произведений А. С. Пушкина в тексте приводятся по Полному собранию сочинений. АН СССР, 1937—1959.

в мемуарах очевидцев и извлечено оттуда Алексеем Толстым для соответствующего эпизода в романе «Петр I»). Лишь внешнеполитические обстоятельства — невозможность организовать общеевропейскую анти-турецкую коалицию в ходе царских путешествий-посольств на запад из-за начинающейся войны за испанское наследство — вынудили его изменить геополитическую ориентацию, но не геопозитические искания русской литературы.

Любопытно, что «путешествующая» внешняя политика Петра I совмещалась с «путешествующей» внутренней образовательной политикой. В системе его преобразовательских инициатив не до конца еще изученное значение имела организация им путешествий русских и зарубежных ученых по российским просторам. По словам немецкого ученого Карла Риттера, быстро ставшие устойчивой традицией ученые путешествия, «которые петербургская Академия, не щадя издержек, устраивала при вспомоществлении императриц Анны, Елизаветы и Екатерины II, должно причислить к самым блестящим и успешным предприятиям для науки, просвещения и народного благополучия России <...> Это обширное государство только посредством таких путешествий могло достигнуть до самопознания и познания своих частей, природных сил и их благотворного употребления для своих подданных»⁶.

В то время как поэты XVIII века начиная с Михаила Ломоносова и кончая Семеном Бобровым выковывали, по известному наблюдению Л. Пумпянского, в одах стихотворные формулы России-«полнощи» и ее рассвета и расцвета («где...» — «там...»), где хронология говорит о разнице между «прежде» и «ныне», а топография — о тождестве места⁷, и эти формулы являлись некими лемехами поэтического плуга, ученые-путешественники открывали и измеряли места для будущей вспашки почвы, в предчувствии появления поэтической астролябии.

Геопозитика (воспользуемся все еще «маргинальным» термином К. Уайта) поэтов и геопозитика ученых взаимно дополняли друг друга, и особенно наглядно совместились это у самого Ломоносова. Так, крымские природа и история постоянно присутствовали в сфере как его научных, так и художественных интересов. В «Слове о рождении металлов», обозревая геологическое прошлое планеты, Ломоносов рассматривает историю происхождения Черного моря и Крымского полуострова. В работе «Первые основания металлургии» он уделяет внимание происхождению Крымских гор в одном ряду с Кавказскими, Кордильерскими и Пиринейскими. В «Древней Российской истории» он описывает взаимоотношения Руси и Крыма с древнейших времен, в «Описании стрелецких бунтов и правления царевны Софьи» уделяет внимание Крымским походам князя Василия Голицына. Наконец, в Крыму разворачиваются события ломоносовской трагедии «Тамира и Селим» (1750).

Сразу же после присоединения Крыма к России (1783) сюда, в развитие «путешествующей» политики Петра I, были организованы путешествия известных ученых Василия Зуева, Карла Габлица и Петра Палласа. Кымоописательные труды этих ученых в известной мере являются и памятниками российской словесности. О последнем из указанных авторов «петербуржец и крымец» (по выражению Марины Цветаевой) Осип Мандельштам писал: «Никому, как Палласу, не удалось снять с русского ландшафта серую пелену ямщицкой скуки». Прочитируем и вспомним на будущее такой образец научной эссеистики из «Путешествия по Крыму академика Палласа в 1793 и 1794 году», посвященный строению Крымских гор: «Слои как бы обрезаны направлением берега и ясно видны в приморских утесах, подобно как в книге листы или в библиотеке книги <...>. Они действительно суть такая книга, в которой испытатель естества весьма много найдет того, что может послужить к изъяснению состава нашего земного шара и происхождения их внешних слоев»⁸.

«Полуостров, — подводил итоги первым описаниям Крыма читаемый потом Пушкиным писатель-сентименталист Василий Измайлов в своем «Путешествии в полуденную Россию» в 1802 году, — которому не достает только может быть Тибуллов, Проперциев, Горациев, чтобы сделаться, подобно Италии, славным в мире <...>.» «Заметьте, — отзывался он о работах Габлица и Палласа, — что живописные картины сего края не укрылись даже от пера сих двух натуралистов, которые писали о Крыме только как Физики и Ботанисты, и вы согласитесь со мною, что в сем уголке света хранится новая жила Поэзии, рождение нового царства в мире Физики и, может быть, тайный ключ русской литературы»⁹.

И это при том, что сам ключ, только не сентименталистский, уже вовсю забил! Поэт-классицист Василий Капнист не только сочинил в 1784 году оду «На завоевание Тавриды», но и отправился сюда искать следы Одиссея (гораздо раньше, чем Шлиман начал раскопки Трои, совравшие с гомеровского эпоса покров легенд).

В славную пристань вошли мы: ее образуют утесы,
Круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле
Устья великими, друг против друга из темных бездн
Моря торчащими камнями, вход и исход заграждая.

Так описывается в «Одиссее» бухта разбойных листригонов, и ряд ученых (К. Бэр, К. Риттер), французский путешественник Дюбуа де Монпере отождествили это описание с уникально замаскированной с моря бухтой Балаклавы в юго-западной части Крыма. А восточнее, в «киммерийан печальной области», — на античном «Крайнем Севере», — находился, и не только по Гомеру, вход в подземное царство мертвых — Аид.

Капнист написал две статьи текстуальных раскопок Гомера, но реальные следы пребывания древнегреческого героя в Крыму не обнаружил. В стихотворных же своих строках он предварил мотивы поэтов-романтиков (в том числе Пушкина, утверждавшего, что после смерти «мой дух к Юрзуфу прилетит»). Капнист выразил мечту «посюстороннего» переселения в Тавриду.

Но ежели свирепством рока
Удела милого лишусь,
На тучный брег Солдайска тока,
В Тавриду древню преселюсь,
Где овцы, пеленой обвиты,
Красу серебристых нежат рун,
Отколь в кумирах знаменитый
Владимиром сражен Перун.

Как бы поправляя Капниста, Гаврила Державин самым названием своей оды подчеркивает мирный характер присоединения фактически завоеванного Крыма — «На присоединение без военных действий Таврических и Кавказских областей и на учиненный с Оттоманскою Портою мир 1784 года» (в дальнейшем переиздавалась под сокращенным названием «На приобретение Крыма»). Не дожидаясь археологической базы своим образам, он устраивает на просторах Тавриды невиданный гомеровский хоровод стрекоз, заставляющий вспомнить о стрекозах Мандельштама.

Цирцея от досады воеет,
Волшебство все ее ничто;
Ахейя, в тварей превращенных,
Минерва вновь творит людьми;
Ослабась Пифагор дивится,
Что мнение его сбылося,
Что зрит он преселенье душ:
Гомер из стрекозы исходит,
И громогласным сладким пеньем
Не баснь, — но истину поет.

«Слух пройдет обо мне/ От Белых вод до Черных», — писал Державин в своем «Памятнике» (1795). Читая эту строку, вначале невольно фиксируешь внимание на цветовом контрасте (который не наблюдается в пушкинском «Памятнике»). Потом слышится рокот волн, ведь речь о двух морях, омывающих крайние пределы государства. А немного поразмыслив, вспомнишь: Петр I основательно начинал рубить «окно в Европу» именно на Белом море, а к концу XVIII века Россия все же утвердилась и на берегах Черного моря. Так что здесь не только автобио-

графия и география, Белые и Черные воды — принадлежность бурной реки времен, а строки поэта — *геопоэтическая* формула российского XVIII века. Подчеркнем при этом, что и всю русскую поэзию XVIII века — в части ее «югофильского» пафоса — не стоит сводить к «метафоре мирового господства», как это делает А. Зорин в статье «Крым в истории русского самосознания», приводя в качестве одного из примеров оду Василия Петрова на переселение Потемкиным православных греков из Крыма в Россию и в аналогичном ключе трактуя одописание Г. Державина и С. Боброва¹⁰. У того же Державина батальные сцены оды «На взятие Измаила» (1790), как отмечено в диссертации С. Хурумова «“Ночная” “кладбищенская” английская поэзия в восприятии С. С. Боброва», окрашены в апокалиптические тона «надувшейся чревом черно-багровой бури»¹¹. На фоне идей о «последнем дне природы» и «потрясения всемирной оси» победоносные «герои отечества» видятся прежде всего как трагические и только затем — как могущественные фигуры. Здесь уже зреет пророческое предчувствие трагической судьбы Российской империи.

Любопытную щепотку соли подсыпал Державин в свою формулу уже из следующего, XIX века — не как поэт, но и не как ученый, а в качестве министра юстиции, которому Сенат поручил составить проект постановления о содержании крымских соляных озер. Державин, подготовив проект в кратчайший срок, выступил против сдачи соляных промыслов на откуп, добиваясь введения государственной монополии на соляное дело. Из петербургского далека он корректировал деятельность назначенного по его ходатайству надзирателем крымских соляных озер, тоже губернатора Д. Мертваго, которого водили за нос формально отстраненные откупщики. Крымская соль стала одной из причин конфликта Державина-хозяйственника с императором Александром I (использовавшим этот продукт для оплаты долгов своих придворных), после чего последовала отставка от госслужбы¹².

В прямой связи с одописью XVIII века находится оставшийся лишь в виде наброска стихотворный замысел Пушкина о «Чугуне кагульском».

Чугун кагульский, ты священ
Для русского, для друга славы —
Ты средь торжественных знамен
Упал горящий и кровавый,
Героев севера губя
..... (2, 236)

Как поясняет С. Кибальник в книге «Художественная философия Пушкина», обращение «чугун кагульский» относится не к чугуну неприятельских батарей, а к тем осколкам ядер, которыми усеяно Ка-

гульское поле, представляя своего рода памятник славы¹³. Ссылаясь на Л. Пумпянского, он предлагает такую схему пушкинской аисторической (художественной) историоризации: монархии противостоит Евгений, а Державину городская беллетристика. Тем самым Петр окончательно отодвигается в прошлое: его подвиг остается за ним, но превращается в великое событие прошлого. В современности же, в 30-е годы XIX века, он может действовать лишь как страшный гигантский призрак. Подлинные художественные открытия происходят тогда, «когда историческая тема перестает выявляться в рамках чисто исторического сюжета»¹⁴. Но вот А. Зорин в отмеченной выше статье делает виртуальными оба полюса данной схемы, когда в качестве симметричного современного отражения «экспансионизма» од XVIII века он предлагает гипсовые скульптуры пионеров в крымских парках советского времени. Вряд ли такая формула плодотворна.

Карл Юнг в статье «Психология и поэтическое творчество» выделил психологический и визионерский типы творчества (первый рассматривая лишь как «своего рода затакт к единственно важной, “божественной комедии”»).

«Художественное произведение такого рода представляет собой не единственное порождение ночной сферы. К ней приближаются также духовидцы и пророки, как это отчетливо выразил блаженный Августин: “<...> И мы поднимаемся еще выше в нашем внутреннем размышлении, рассуждении о делах Твоих, и мы верим в пространство наших умов, и проходим через них, чтобы достичь области непреходящего изобилия <...>» Этот путешественник по архитектурным и мифологическим основаниям мира так комментировал обращения поэта к мифам: «Представлять себе дело так, будто он просто работает при этом в доставшемся ему по наследству материале, значило бы все исказить; на деле он творит, исходя из первопереживания, темное естество которого нуждается в мифологических образах, и потому жадно тянется к нам, как к чему-то родственному, дабы выразить себя через них. Первопереживание лишено слов и форм, ибо это есть видение “в темном зеркале”»¹⁵.

Дополняя вертикальную структуру архетипической психологии горизонтальными положениями до-психологической географии, Джеймс Хиллман писал: «“Юг” означает не только этническое, культурное, географическое местоположение, но и символическое тоже. “Юг” — это культура Средиземноморья, ее образы, оригинальные произведения, боги, богини, мифы, трагические и плутовские жанры (в отличие от эпического героизма “Севера”)»¹⁶. Таврида — типичный «южный» поэтический миф, полный разнообразных «первопереживаний».

М. Эпштейн отнес этот миф, вместе с его онтологической основой, к «классической», уравновешенной разновидности, в противоположность «романтической» кавказской, полной чрезмерностей и напряженностей.

«Кавказ возвышен. Крым прекрасен, в том именно смысле, в каком различала эти понятия старинная эстетика: прекрасное — это уравновешенность, вылепленность всей сущности; возвышенное — всплеск содержания за пределы формы, устремленность в невозможное, необозримое... “Ужасы, красоты природы” — так определял противоречивую сущность Кавказа Державин (“На возвращение графа Зубова из Персии”)»¹⁷.

Такая схема в известной степени была бы оправданной, если ограничиться сопоставлением пушкинских стихотворных строк насчет «свирепого веселья», «волнистой мглы» и мятежных горцев Кавказа — и «моря блеска лазурного», «ясных, как радость, небес» и «простых татар семей» в Крыму. Однако литературный контекст в целом демонстрирует, что поэтические «первопечатления» зависят не столько от самих по себе природных красот, сколько от структуры привносимого извне взгляда. Младший современник Державина, представитель «ночного» преромантизма Семен Бобров именно в Крыму был потрясен «священными ужасами природы». Может быть, здесь есть смысл говорить не о романтизме и классицизме, а о двух типах романтизма — готическом (Кавказ) и барочном, переходящем в рококо (Таврида)?

СЕМЕН БОБРОВ, ПОЭТ И КАПИТАН

Именно Семен Бобров, со своим типично барочным всесторонним (не только геопозитическим) «колумбизмом», вполне годится на роль поэтического Колумба Крыма (а может быть, даже более Америго, чем Колумба, так как в поэзии, в отличие от географии, описания могут предшествовать подлинным открытиям).

«Я смело и не боясь никакой строгой цензуры, могу сказать, что г. Бобров в лирическом стихотворчестве после двух Российских великих гениев, Ломоносова и Певца Фелицы <...> занимает первое место», — отзывался о нем критик-современник¹⁸. В учебном пособии «Курс российской словесности» Ивана Левитского (1812) оды делились на «ломоносовские, державинские и бобровские»¹⁹. Уже в начале нашего века видный историк русской поэзии И. Н. Розанов напомнил, что Державин, прежде чем передать «ветху лиру» Жуковскому и благословить, «в гроб сходя», Пушкина, именно в Боброве думал видеть своего преемника²⁰.

Семен Сергеевич Бобров родился по разным данным то ли в 1763, то ли в 1767 году близ Ярославля. В годы учебы в Московском университете он сблизился с масонским движением, пользуясь покровительством Михаила Хераскова. С 1784 года печатался в изданиях Николая Новикова. После переселения в Санкт-Петербург служил в морском ведомстве Александра Шишкова, примыкая к возглавляемому им архаическому литературному направлению, целью которого было сохранение культурных традиций, в частности сбережение русского языка в

его первозданной чистоте, борьба с иноязычными заимствованиями. Был близок с Александром Радищевым, сотрудничал с журналом «Беседующий гражданин» и Обществом друзей словесных наук. На фоне общей «галломании» тогдашней литературы Боброва выделяла увлеченность английской поэзией (Мильтоном, Томсоном, Э. Юнгом и др.). Он в совершенстве владел не только общепринятым французским языком, но и, что важно, английским.

В 1790 году Радищев, названный Екатериной «бунтовщиком хуже Пугачева», был арестован. Еще через два года был разгромлен кружок Новикова. Точно нельзя сказать, связано ли с этим исчезновение Боброва на целое десятилетие со страниц московских и петербургских журналов. Но сам он оказался «перемещен в походную канцелярию его высокопревосходительства г. адмирала, председательствующего в Черноморском адмиралтейском правлении, Николая Семеновича Мордвинова»²¹.

Вместе с Мордвиновым капитан Бобров совершал поездки по Черному и Азовскому морям и, как свидетельствуют документы, «при обозрении Николаевской, Херсонской, Одесской, Севастопольской, Керченской и Таганрогской портов разделял с ним труд в сочинении обстоятельных о том донесений к высочайшему лицу». Однако он не ограничивал свои занятия только донесениями. «Великолепная и богатая Таврида, <...> — как было впоследствии отмечено на страницах журнала «Северный вестник», — воскресила его Музу, чтобы волшебною ея силою воспользоваться к отпечатанию прелестей своих в ея песнопении»²². Имелась в виду поэма «Таврида, или Мой летний день в Таврическом Херсонисе».

В посвящении поэмы Мордвинову Бобров подчеркнул, что ее замысел возник во время их совместных поездок в Крым: «Начало сего плода возрастом своим обязано еще первому нашему обозрению сего полуострова.» Мордвинов вполне заслужил это посвящение. «Вельможа-гражданин», по известному выражению Пушкина, на протяжении всей своей долгой жизни (1754—1845) проявлял себя как выдающийся государственный деятель, автор смелых проектов экономического и политического переустройства России. Он оказался единственным членом Государственного совета, который не поставил своей подписи под смертным приговором декабристам, заключая «в себе одном, — по словам Пушкина, — всю русскую оппозицию» (13, 91). В данном же случае он особенно интересен еще и тем, что уезжая из Петербурга, он взял с собой типографщика Селивановского и устроил при своем управлении в Николаеве первую на юге типографию, где в 1798 году поэма и была напечатана.

Являясь первым большим художественным произведением о Крыме, поэма в то же время и первый в русской литературе опыт применения безрифменного ямба в подобных масштабах. В предисловии Бобров

так обосновал новый эксперимент «слоγοпада без рифм»: «Читатели! позволь мне признаться в шутку! у меня Таврическое ухо, а Таврические Музульмане не любят колокольного звона». В другом месте он сравнивает рифму уже не только с привычным, усыпляющим звоном, но и с «ребяческими побрякушками, или с простонародным треканьем при работе»²³. «Тайной гармонии», по мнению С. Боброва, только мешает, когда «в стихе короткие буквы часто тащат за собою двух или трех согласных, как будто слепые ведут зрячих». Но подробный разговор об этом произведении впереди.

В 1800 году Бобров вернулся в Петербург и активно включился в литературную жизнь. Уже в 1804 году вышло четырехтомное собрание его сочинений с общим весьма знаменательным названием «Рассвет полночи, или Созерцание славы, торжества и мудрости порфиринозных, браноносных и мирных гениев России с последованием дидактических, эротических и других разного рода в стихах и прозе опытов Семена Боброва», вызвавшее ожесточенную, с резкой поляризацией оценок дискуссию о его творчестве.

Современники и нынешние литературоведы (Марк Альтшуллер, Людмила Зайонц) видели в Боброве прежде всего «певца ночей». Тщательно исследована связь его поэзии с «Ночными размышлениями» английского поэта Э. Юнга, отмечены параллели с теоретиками художественной системы барокко Кеплером и Лейбницем, писавшими о музыке Вселенной («бездне воющих чудес» у Боброва), о непостижимом согласии, царящем в космосе и выраженном в столь парадоксальном словосочетании: «безмолвные звуки звезд».

Одно из стихотворений Боброва так и называется — «Полночь».

О ночь! — лишь погрузишь в пучину мрака твердь,
Трепещет грудь моя; в тебе мечтаю смерть;
Там зрю узлы червей, где кудри завивались;
Там зрю в ланитах желчь, где розы усмехались.
Одр спящего и гроб бездушный — все одно;
Сон зрится смертию, смерть сном, и все равно.
Открою, где чертог премудрость зиждет свой;
На мшистых сих гробах, где мир небесный веет!
Ступай! — учись! — гроза прошла, — луна багреет...

Ключевым в этом стихотворении является слово «учись» (как и в названии собрания сочинений — «рассвет», а не «полночь»).

«Рассвет полночи» представляет собой единую художественную систему, где в космос органично включена оригинальная концепция русской истории и положительная идейно-эстетическая программа автора. Для XVIII века было характерно резкое противопоставление Востока и Запада, с ориентацией на Запад и восприятием его не только как опре-